**Константин Поливанов**

**Марина Цветаева, Борис Пастернак. Души начинают видеть**

**Опубликовано в журнале:**[**«Критическая Масса» 2005, №1**](http://magazines.russ.ru/km/2005/1/)

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Письма 1922—1936 годов. Издание подготовили Е. Б. Коркина и И. Д. Шевеленко. М.: Вагриус, 2004. 720 с. Тираж 5000 экз.**

В исследованиях русской литературы давно сложилась устойчивая тенденция одних писателей чаще рассматривать, в первую очередь, в связи с их биографией, а говоря о других, больше внимания уделять особенностям поэтики и интерпретациям. Цветаева долгое время находилась среди чемпионов именно в качестве объекта биографических штудий, и Пастернак, в общем, не сильно от нее отставал. Именно в связи с проработанностью биографий обоих авторов свежеизданной переписки была особенно заметна лакуна, которую образовывала ее прежняя недоступность.

Письма Пастернака находились в цветаевском фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства — дочь Цветаевой, А. С. Эфрон, передав туда материнский архив, закрыла доступ к нему исследователям и публикаторам до 2000 года. С письмами Цветаевой дело обстояло (да и обстоит) много хуже. По словам Пастернака (очерк “Люди и положения”), “их погубила излишняя тщательность их хранения”. Во время войны и эвакуации Пастернак отдал “бережно хранимые драгоценные письма” сотруднице Музея имени Скрябина, та “не расставалась” с ними, “не выпуская их из рук и не доверяя прочности стен несгораемого шкафа”. И в конечном итоге, возвращаясь домой с работы, “спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой”. Впрочем, уже давно стало понятно, что потеря была не столь полной и невосстановимой. С части писем сохранились копии, и, как предполагает И. Д. Шевеленко, быть может, именно ради этого копирования письма и возились в злополучном “чемоданчике”. Однако несравнимо более важную роль для восстановления переписки сыграла привычка Цветаевой письма перед отправкой писать еще и в своих рабочих тетрадях. Расшифровка записей в тетрадях и выстраивание на их основе именно переписки была проделана Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко, благодаря которым мы и получили книгу в ее нынешнем виде.

Отдельные фрагменты писем за разные годы (благодаря копиям) и целый блок писем 1926 года (по воле самой Цветаевой, передавшей их перед отъездом в эвакуацию в 1941 году в руки своей знакомой) были опубликованы уже достаточно давно. Уже тогда стало понятно, что переписка двух поэтов, начавшись в 1922 году, дала толчок развитию заочного романа. Существенная часть стихотворений Цветаевой 1920-х продолжала ведущийся в письмах любовный диалог (или одну из частей двух монологов?). В 1926 году к этим заочным отношения добавились также в письмах отношения с австрийским поэтом Р. М. Рильке, которого оба русских поэта ставили чрезвычайно высоко.

Книга “Души начинают видеть”, как всегда бывает с появляющимися документами, которые встраиваются в область, которая уже давно пристально рассматривалась, с одной стороны, сообщает множество новых деталей и подробностей, существенных для представления о жизни и писаниях Цветаевой и Пастернака, с другой — позволяет проверить правильность реконструкций, которые предпринимались, скорректировать устоявшиеся мнения.

Причем, так как для обоих корреспондентов степень доверия и расчет на полное понимание были очень высокими, то, что они писали друг другу, далеко выходит за пределы собственно их взаимоотношений. Характеристики людей, событий, атмосферы, взгляды на судьбу и литературу прописаны здесь так, как, может, ни в одних других письмах, которых оба поэта написали немало, в том числе и в годы, когда велась их переписка.

Многие страницы, строки напоминают не столько письма, сколько поэтическую прозу, сравнимую, наверное, с лучшими страницами “Охранной грамоты” или автобиографической прозы Цветаевой. Цитировать можно было бы бесконечно, но ограничусь одним фрагментом письма Пастернака, которое его корреспондентка оценила как открытие им новой тематической области. В письме 16 октября 1927 года Пастернак описал свой сорокаминутный полет на маленьком самолете над Москвой, причем выбрать из этого письма короткий фрагмент так же трудно, как вычленить несколько самых характерных строф из целого стихотворения. И все-таки рискну, в надежде, что каждый читатель сможет прочесть и письмо целиком:

“Что делается с землей, куда, во что она погружается? Какой отраженный образ несется снизу в ответ на это ее окунанье? Как это отражается на тебе и на крыле? Эта сеткою человечества исчерченная равнина, эта нежно-серая и волнующе одноцветная ширь, царапнутая там и сям коготками железных дорог, эта Москва в рыжем бисере кирпичных кружев, чайной дорожкою положенная на призрачную скатерть зимы (вот кончается кружево, и рядом, — какая сервировка! — отступя лежат мшистой подушкой Воробьевы горы, вот совсем тут же — другой конец, и мхи Сокольников). И все это взято опрятною октавой (палец тут, палец там) на снегу и происходит в смертельной тишине. Так вот, эта Москва теперь такова, как Петербург у Достоевского и у Диккенса — Лондон. Если судить это волненье и запросить обо всем один глаз, то и тогда: эта Москва провалилась вся в таинственное виденье *старинных мастеров*: ее коричневость не нарушает призрачной одноцветности творящегося: начни с нее, — это коричневое преданье, начни с застав, — она серебристо сера”.

Цветаева, откликаясь на это письмо, пророчила Пастернаку начало новых тем его лирики. Однако стихи о летчике (“Ночь”) возникают у ее адресата много позже, и, наверное, вызванные уже не столько воспоминаниями о собственном полете, а больше чтением прозы Экзюпери. Однако сравнение самолета с роялем (“механизма в них меньше, чем в рояли”) и города с октавой, возможно, отозвались опосредованно в нескольких его позднейших “музыкальных” стихотворениях.

Очень многое из этих писем, бесспорно, протягивается к позднейшим вещам Пастернака. 3 мая 1927 года он пишет Цветаевой, что не знает, когда сможет после поэм вернуться к лирике, “но прозу, и свою, и м. б. стихи героя прозы, писать хочу и буду”. Первые прозаические подступы к темам, позже затронутым в “Докторе Живаго” появляются, у Пастернака не позже двадцатых годов, но о намерении писать стихи от лица героя романа до 1940 годов Пастернак, насколько известно, никому больше не сообщал.

И Цветаева и Пастернак, как убеждают их письма, очень внимательно и заинтересованно (а часто и ревниво) следят за русской литературной жизнью и в СССР, и в эмиграции. Они обсуждают стихи, прозу, статьи В. Ходасевича и Н. Асеева, П. Антокольского и Б. Зубакина, Д. Святополк-Мирского, М. Кузмина и Андрея Белого. Чаще других предметом обсуждения становится Маяковский. Любопытна одна из пастернаковских характеристик Маяковского в письме Пастернака 12 мая 1929 года, в ответ на неодобрительный отзыв Цветаевой. Слова письма точнее и яснее формулируют то, что позже было сказано в очерке “Люди и положения”: “…любить Маяковского мне легче, чем презирать, а до твоего отзыва о „Хорошо“ я уже было примирился с тем, что стать советским Бальмонтом, по странности, выпало на долю именно ему. Правда, в „Хорошо“ есть места, возвышающиеся над этой пустой инструментальностью, но я их насчитал немного. Кроме того, если вспомнить, что музыка есть *совесть слова*, то я бы даже эту бессовестную словесность не назвал и музыкальной, хотя по-Северянински”. Пастернак подробно описывает в апреле 1930 года все, что знает о гибели Маяковского (как за 5 лет до этого посылал Цветаевой все, что мог собрать о последних днях и часах Есенина), описывает затруднения с публикацией своего стихотворения на смерть поэта, объясняет, как теперь ему придется иначе, чем предполагал прежде, писать о нем в “Охранной грамоте”. Подробное обсуждение в письмах поэзии и Мандельштама, и Гумилева, и Ахматовой, причем с выписыванием очень точных их характеристик, полностью развеивает отчасти именно Ахматовой создававшийся миф о Пастернаке, который не читал и не понимал поэтов-современников.

Интересно, как в их переписке формируются строки, строфы, заглавия, темы, которые дальше попадали в создававшиеся ими литературные тексты. Цветаевская строчка “дай мне руку на весь тот свет, здесь мои обе заняты”, видимо, сперва возникает как фраза письма. Пастернак, восхищаясь в письме строками из книги “После России”, выражает уверенность, что она станет “вторым рожденьем”, напомню: именно в это время переписывается стихотворение “Марбург” со словами о “вторично родившемся” герое, которому отказала возлюбленная, а через несколько лет так Пастернак назовет свою первую после десятилетнего перерыва новую книгу лирики.

Уже достаточно давно читатели и исследователи Пастернака рассмотрели в Марии Ильиной, героине его поэмы “Спекторский”, отголоски жизненных и литературных черт Цветаевой. Теперь эти реконструкции подтверждаются письмом Пастернака 5 марта 1931 года: “Там имеешься ты, ты в истории, моей — нашего времени”. Пастернаку представляется, что очень многое в поэме “Попытка комнаты” связано, наоборот, с ним, но Цветаева разубеждает его: “Это не наша комната”. Разубеждение, впрочем, для читателей переписки не полное — позже свои заочные разговоры с Пастернаком она называет “Попыткой комнаты”, а вся их переписка, с 1923 до 1927 года по крайней мере, так или иначе вертится вокруг вопроса о “пространстве” — географическом, временном, литературном, — где они могли бы оказаться вдвоем, могли бы любить друг друга без препятствий.

Вообще переписка как обсуждение двумя поэтами текстов друг друга дает мало с чем сравнимый материал для понимания как отдельных стихотворений, так и принципиальных законов их поэтических систем.

Однако едва ли не главное ощущение, которое остается от прочтения книги, — это ощущение чудовищной тяжести для обоих поэтов всех 15 лет — 1922—1936, — на протяжении которых она продолжалась.

Цветаева находится в постоянном безденежье, граничащем с полной нищетой, бытовые проблемы то и дело не оставляют возможности думать, чувствовать, быть одной, чтобы писать и в конечном счете материально поддерживать хотя бы нищенское существование. Еще более болезненно ощущение отсутствия понимающих читателей. “Читаю одним, читаю другим — полное — ни слога! — молчание, по-моему — неприличное, и вовсе не от избытка чувств! от полного недохождения, от ничего-не-понятости … Для чего же вся работа”, — в отчаянии пишет Цветаева 15 июля 1927 года. Но не только отсутствие денег и читателей угнетает ее, и в эмиграции она не свободна от политического диктата. Муж и дочь рвутся возвращаться в СССР, а сестра дает понять из Москвы, что и сама она, и ее сын остались в положении заложников (на долю обоих выпали потом испытания в сталинском ГУЛаге), за написанное Цветаевой за границей спросить смогут с них.

Пастернак внутри Советской России находится часто не в лучшем положении, причем безденежье, долги, сложности отношений с людьми, коммунальная квартира — все это вместе только усиливает проходящий через все двадцатые годы кризис восприятия своих поэтических возможностей в окружающих его жизненных, политических, литературных условиях. В 1928 году Пастернак вспоминает, как его в 1924-м “тут стерли в порошок и довели до решенья „бросить литературу“”. В 1927-м он пишет Цветаевой, что своими революционно-историческими поэмами наконец купил право опубликовать внутри Советской России “Темы и варьяции”, четвертую книгу стихов в 1923 году напечатанную в Берлине (“да и то не отдельно, а одним томиком, при „Сестре“” — 29 апреля 1927). Но писание поэм о революции 1905 года не было тактическим расчетом. Мучительно и сложно изо дня в день и из месяца в месяц Пастернак ищет возможность найти темы и слова, которые прозвучат и повлияют на окружающий его мир, сначала словесный, литературный, а за ним, возможно, и мир, этим словом управляемый. Пастернаку кажется, что ценимые им Асеев и Маяковский могли бы подхватить что-то найденное им в истории и в слове, и это начало бы воздействовать не только на литературу, но и на жизнь. “В ощущении история у меня вернулась в природу, где ей и следует быть. — Маяковский и Асеев понемногу берутся за ум и написали по хорошей поэме к десятилетью <революции 1917>” — пишет Пастернак 18 сентября 1927 года, а спустя месяц, 21 октября: “Провести в официальный адрес нечто человечное, правдивое и пр. было задачей еле мыслимой. Если бы это сделали еще два-три человека, лающий стиль официальщины был бы давно сорван. Но представь, этот мой опыт уже благотворно отразился на некоторой части последних работ Маяковского и Асеева. Они уже не так бездушны”.

Надежды на Асеева и Маяковского, наверное, оказались тщетными, но публикация переписки в конечном итоге оставляет последнее слово в определении эпохи, так, как им этого хотелось, за Цветаевой и Пастернаком.

**Константин Поливанов**